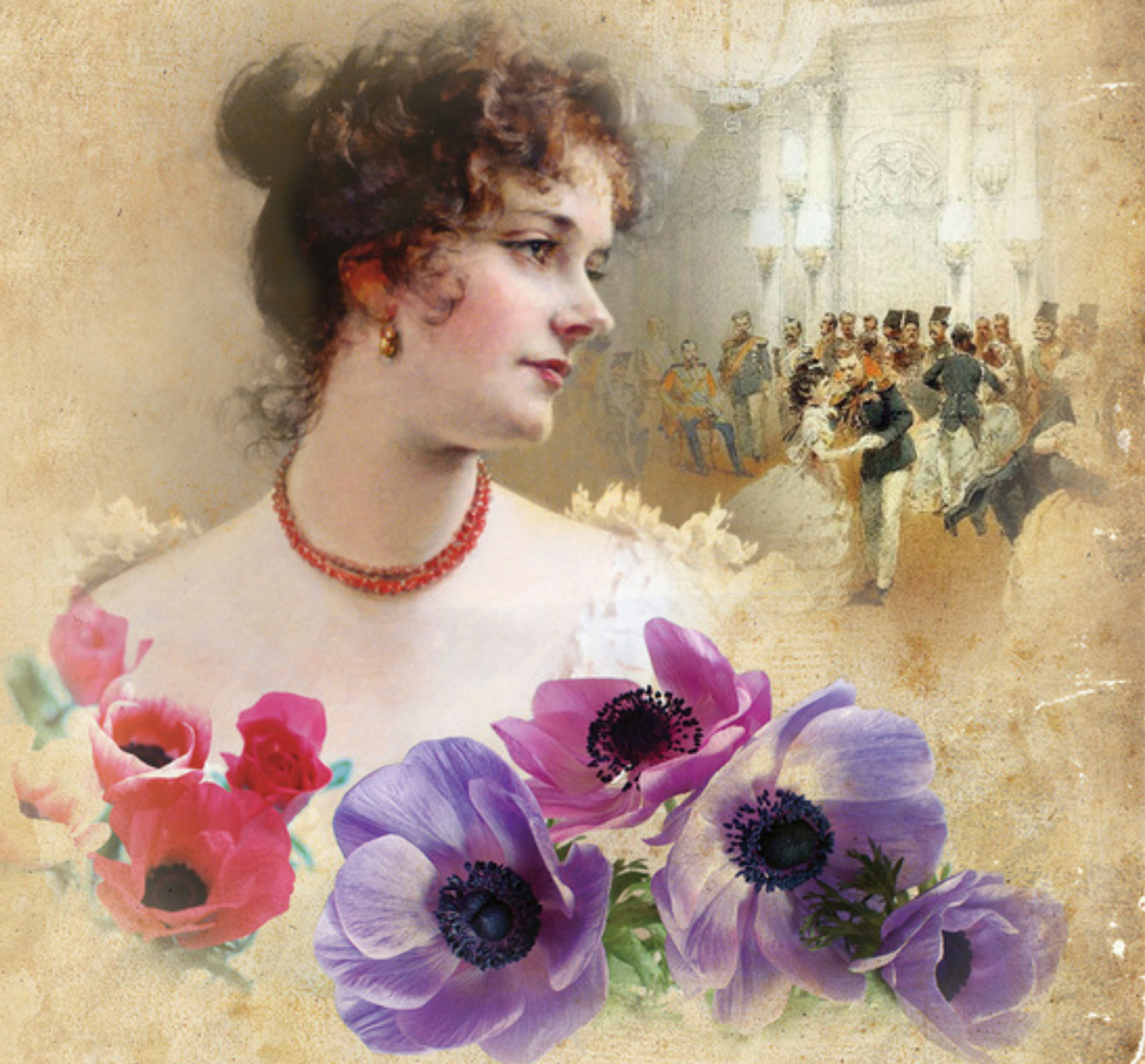


ЕЛЕНА АРСЕНЬЕВА

ЕЩЕ ОДНА ИЗ ДОМА
РОМАНОВЫХ



Чаровница

Елена Арсеньева

Еще одна из дома Романовых

«Автор»

2013

Арсеньева Е. А.

Еще одна из дома Романовых / Е. А. Арсеньева — «Автор»,
2013 — (Чаровница)

ISBN 978-5-699-63645-7

Немецкая принцесса Элла любила анемоны, греческая Александра –
иммортели. Принцессу Элли любил и ее муж, и муж Александры...
Нелюбимая бедняжка скоропостижно отправилась в мир иной, и оставшийся
вдовцом великий князь Павел Александрович наконец-то вычеркнул
из памяти роковую Элли, много лет сводившую его с ума... Он думал,
что с любовью покончено. Но однажды ночью, скитаясь по Петербургу,
Павел повстречал новую роковую женщину своей жизни. И она внесла
такой переполох в многолюдный дом Романовых, что стало не до анемонов и
иммортелей...

ISBN 978-5-699-63645-7

© Арсеньева Е. А., 2013

© Автор, 2013

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

27

Елена Арсеньева

Еще одна из дома Романовых

©Арсеньева Е., 2013

©Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.*

А. Пушкин

– Я до сих пор не понимаю, как вам удалось меня сюда притащить, – проворчал Эрик, опасно озираясь.

«Трус несчастный!» – подумала Леля, но улыбнулась с такой нежностью, что сердце Эрика дрогнуло. Эти чудные темные глаза умели смотреть так, что у него мутилось в голове.

– Эрик, я не понимаю, о чем вы так беспокоитесь? Здесь никто представления не имеет ни о вашем имени, ни о вашем высоком чине, поэтому ваше реноме не пострадает. Ну кто вы в их глазах? Просто какой-то лакей, который решил повести хорошенькую горничную на ярмарку. Я ведь хорошенькая, правда? – И Леля расхохоталась, не дожидаясь ответа, вернее, прочитав его во взгляде Эрика. – Да здесь таких, вроде нас, полным-полно, вы оглянитесь! Но они ведь и по-настоящему лакеи и горничные – а мы-то кто с вами на самом деле? То-то... Но это ведь безумно интересно – хоть немного побыть не собой, а другим!

– Я, наверное, и вправду обезумел, если позволил вовлечь себя в эту авантюру, – буркнул Эрик. – Мне все время кажется, что сейчас кто-нибудь крикнет: «Le roi nu!»¹

– Ради бога, – насмешливо сказала Леля, – теперь станемте говорить только по-русски, ежели вы в самом деле не хотите, чтобы вас и в самом деле разоблачили. Кстати, вы знаете, что такое по-русски – *разоблачить*? Это значит – раздеть! Вот вам и выйдет le roi nu!

И она расхохоталась, наслаждаясь небывалой растерянностью в глазах своего кавалера.

А и в самом деле – Эрик-Герхард фон Пистолькорс совершенно не понимал, как это он – поручик конной гвардии, всегда такой важный, исполненный чувства собственного достоинства, слегка снисходительный, но все же с толикой презрения к тем, кто не столь, сколь он, осведомлен в мировой и политической, а особенно – в военной истории, – ну вот каким образом он вдруг смог до такой степени потерять голову и позволить Леле Карнович (в отличие от матери, Ольги Васильевны, младшую дочь в этой семье называли только Лелей, и ни на каких Оленек-Олечек она отзывать не желала!) уговорить себя пойти на ярмарку... да еще нарядившись в парадный костюм старшего лакея Карновичей – Федора Игнатьевича?! Между прочим, Федор Игнатьевич не сопротивлялся прихоти барышни Ольги Валерьяновны ни одной минуты, он словно бы даже с радостью отдал свой длинный, в талию сшитый пиджак, котелок и брюки Эрику, гордо заявив, что это его лучшее выходное платье.

– Выходное платье?! – изумился Эрик. – Парадный костюм? Но ведь все шпа... – Он чуть не брякнул по привычке – шпаки, но быстренько поправился: – То есть я хочу сказать, все штатские на выход надевают фрак! В театре куда ни посмотри – одни фраки!

¹ А король-то голый! (франц.)

– Это лишь для господ, – пояснил Федор Игнатьевич, – а для нашей служащей братии фрак – одежка повседневная. Коли нам прифрантиться охота, мы вот пиджачишко себе построим да и хаживаем в нем за милую душу по гуляньям – само собой, когда господа отпустить соизволят.

Кто-то однажды сказал, что фрак – мундир для шпака, и с тех пор Эрик-Герхард Пистолькорс относился к этому виду одежды не без презрения. Теперь он презирал фраки еще больше. Подумать только! Повседневная одежда для лакея! И ведь в цирке тамошние служители – тоже во фраках! Да никогда в жизни господин конногвардеец больше не снимет мундир ни для какого бала, ни для какого торжества! И хоть в свете частенько можно было видеть военных, даже заслуженных, щеголявших на балах и на театрах во фраках с так называемыми «фрачными орденами», представлявшими собою уменьшенные и облегченные копии настоящих, Эрик твердо знал, что отныне это – не для него. Никаких фраков!

С этой мыслью он почти покорно надел и двубортный пиджак, и брюки на подтяжках, и штучный, то есть сшитый из другого материала, чем костюм, жилет, и сорочку с пристегивающимся целлулоидным воротничком, который немедля натер бы Эрику шею, кабы шея сия уже не была столь многожды натираема воротом кавалергардского мундира, что Эрик на такие мелочи и внимания не обращал.

Ему приходилось читать сочинения господина Габорио, главный герой которых, агент сыскальной полиции по имени Лекок, отличался необыкновенной приметливостью и умел определить принадлежность человека по незначительным признакам. Эрик мог бы подсказать мсье Лекоку, что подлинного военного легко определить по красной полосе на его шее...

Федор Игнатьевич снабдил Эрика также скромным черным галстуком под названием «регата», который был не чем иным, как обычным галстуком с уже готовым большим узлом и даже серебряной булавкой, скреплявшей концы, однако застегивался он на петельку сзади, под воротничком рубахи, что, конечно, было очень удобно... для *шпаков*. Пистолькорсу были выданы и перчатки, и палка – по весу тяжелая, однако сделанная из витого цветного стекла. Федор Игнатьевич пояснил, что его свояк живет в городе Гусь-Хрустальном, а там такие вот стеклянные палки в большом ходу, ибо – местное ремесло и весьма дешевы. Эрик, который до сей поры держал в руках только легонький стек, который иногда заменял ему хлыст при верховой езде, а более служил формой щегольства, сначала даже боялся опираться на эту палку, думая, что она окажется неким подобием стека или трости, которая тоже, как и стек, была лишь данью щегольству, а не опорой, но вскоре оказалось, что стеклянная палка вполне надежна. Правда, ронять на булыжную мостовую ее все же не рекомендовалось, о чем Федор Игнатьевич деликатно предупредил. Эрик со вздохом пообещал беречь подарок лакейского свояка. Да-да, с ним происходили странные превращения – то ли под действием новой одежды, то ли – и это вернее всего! – под действием неодолимых Лелиных чар. Пока конногвардеец под руководством старшего лакея Карновичей овладевал навыками обращения со своей новой, с позволения сказать, сбруей, Леля поспешно снимала корсет и надевала прямо на сорочку ситцевое розовое платье. Ей помогала переодеться и заплетала косу Анюта, которая, как и положено молоденькой и хорошенькой горничной, была истинной субреткой² своей госпожи, а потому находилась в курсе всех ее эскапад, сиречь всегда экстравагантных, но далеко не всегда приличных выходок. Скажем, если бы Анюте захотелось бы вдруг развязать язык в обществе досужих газетных репортеров, которые всегда охочи до сплетен о тайнах власть имущих (а не следует забывать, что Лелин отец, Валерьян Гаврилович Карнович, носил чин действительного статского советника и был камергером двора его императорского величества, да и муж старшей Лелиной сестры Любочки, Евгений Сергеевич Головин, имел те же звания!), она –

² Субретка – театральное амплуа: бойкая, находчивая, острая на язык служанка, которая предана своей хозяйке и помогает ей в любовных интригах и прочих авантюрах. (Прим. автора.)

Анюта – многое могла бы рассказать газетчикам интересного об этом «черте в юбке», как втихомолку звали между собой Лелю слуги Карновичей. Еще одним Лелиным прозвищем было «барышня-бесовка». Федор Игнатьевич – тот самый, который покорно вынул из сундука заботливо хранимый там (обернутым в шелковую бумагу!) свой парадный костюм, – не раз заявлял, что поговорка «Где черт не сладит, туда бабу пошлет» выдумана нарочно для барышни Ольги Валерьяновны.

Натура у хорошенькой, как девочка с конфетной коробки, Лели была с малолетства самая причудливая. Она отлично знала по-английски – благодаря стараниям мисс англичанки Глории Стайленд – и как-то раз даже начинала знакомство со знаменитой книгой мистера Льюиса Кэрролла «*Alice's Adventures in Wonderland*», «Алиса в Стране чудес», которая вышла как раз в год рождения Лели – 1865-й – и была мисс Глорией не раз с восторгом читана. Мисс Глория полагала сие произведение шедевром – Леле же сказка показалась донельзя длинной и занудной, почему и была отброшена (однако «Крошку Доррит» и «Оливера Твиста» она затрепала от корки до корки!), но мысль о Зазеркалье, о другой стране, куда, оказывается, так просто попасть, в Лелиной кудрявой голове засела прочно. Вот бы там побывать! Неведомо почему, но девочка сочла, что переодевание в чужой наряд – это один из ключей, открывающих двери в эту страну, а потому маскарады сделались ее любимым времяпрепровождением. Однако же маскарады – не настолько уж частое явление в приличном обществе, а оттого Леля взяла за правило рядиться в чужую одежду самостоятельно, без всякого повода, как только возникала охота или как только выпадала такая возможность. Разумеется, с этих пор ее любимыми книгами стали «Барышня-крестьянка», а также «Двенадцатая ночь» Шекспира и те книги и пьесы, в которых главная героиня принуждена поневоле переодеться либо в платье противоположного пола, либо в наряд субретки. Гардероб Анюты и всех прочих горничных был отныне к Лелиным услугам, ибо ей решительно никто ни в чем не мог отказать.

Наконец дошли о том слухи до родителей. Матушка призвала к себе шалую барышню и строгим голосом сделала внушение. В отличие от супруга своего, Валерьяна Гавриловича, который младшую дочь обожал и решительно ни в чем не мог ей отказать, Ольга Васильевна не скрывала пристрастия к Любочке, дочери старшей, а потому осуществлять все воспитательные – точнее, карательные – меры по отношению к Леле всегда принималась сама. Для начала Ольга Васильевна заявила, что неприлично девушке из *такого семейства* — два эти слова она голосом, словно курсивом, выделила – напяливать на себя всякую ветошь, служанкам принадлежащую, и выставлять себя на посмешище.

А Леля, надо сказать, с малолетства умела различить, кто ее любит искренне (отец и все слуги), кто лишь исполняет свой долг по отношению к ней (маменька и мисс Глория), а кто терпеть не может (сестра Любаша, ее супруг Евгений Головин и все классные дамы, с какими только имела дело Леля на своем гимназическом веку). И хоть она прекрасно знала, что лучше, когда люди тебя любят, чем когда не любят, и надо уметь этой любви от них добиваться, она, по младости лет, была все же достаточно своевольна, а потому маменькиных нотаций не снесла – и возьми да и скажи:

– Папа недавно рассказывал, что сама великая княгиня Марья Николаевна не считала зазорным рядиться и разгуливать переодетой по улицам! И никто не смел над ней смеяться, тем паче что она проделывала сие тайно! А уж коли ее высочество, дочь государя императора, не считала это для себя зазорным, то и тем, кто проще, дозволено.

– Вот именно что не дозволено, – категорично заявила Ольга Васильевна, – ибо *quod licet Jovi, non licet bovi*³. И то, что было простительно дочери государя, будет считаться зазорным для дочери камергера. Браки венценосцев подчинены государственной необходимости, поэтому

³ Что позволено Юпитеру, не позволено быку (*лат.*).

судьба Марьи Николаевны была предрешена независимо от ее репутации, а девицы нашего круга принуждены считаться с условностями света, если хотят сделать хорошую партию.

– Хорошую партию! – проворчала Леля, но более слова не промолвила, видя, как гневно сверкают глаза у маменьки. Ольга Васильевна была нравом крута и горяча до такой степени, что даже муж опасался с ней спорить, а Леля не раз умудрялась схлопотать оплеухи, тычки да пинки за свое своеволие. Когда была девочкой, то заливала обиду слезами, вымаливала у разошедшейся маменьки прощение, а теперь просто стала осторожней. Даже от самых близких надобно уметь таиться, делая вид, что ты покорна их воле. Не людей надо уговаривать, – Леля очень рано поняла это, – не их воле подчиняться и даже не к обстоятельствам приспособляться... нужно эти самые обстоятельства и людей приспособлять к своей воле! Только чтобы они не поняли, как ты это делаешь. Чтобы они вообще не поняли, что с ними это проделывают!

Ольга Васильевна, хоть и любила младшую дочь меньше старшей, понимала, что Леля куда красивей Любочки и над мужчинами имеет особенную власть. Ни одно существо мужского пола (к существам этим Ольга Васильевна ничего, кроме презрения, не испытывала, искренне полагая, что ни одно из них своим умом думать не способно – на то ему ум жены даден... И это было единственное, в чем сходились в своих воззрениях дочь и мать, однако ни та, ни другая об этом сходстве не только не знала, но даже не подозревала) не могло оставаться равнодушным к ее – нет, даже не красоте, хотя Леля была прехорошенькой, вся будто точеная, пышногрудая, с великолепными волосами и длинными, словно бы всегда прищуренными темными глазами, – а к ее очарованию. Ведь даже рядом с писаными красавицами, такими известными в свете, как княжны Мария Кузнецова и Вера Хованская, графиня Лия Бехтеева, Ванда Боровицкая, Розалия Розетти, княгини Зинаида Юсупова и Мария Голицына, – даже рядом с ними подрастающая Леля Карнович не оставалась незамеченной. Девчонка должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию, твердо решила мать, у которой закружилась голова перед сонмом кавалеров дочери, которые днем то и знай фланировали верхом или в колясках под окнами дома Карновичей, а на балах или вечеринках не давали Леле передохнуть. Разумеется, больше всего вокруг нее крутилось молодых вертопрахов, среди которых не было ни единого человека с приличным состоянием и положением в свете, однако некоторые весомые персоны... их ведь не в любом обществе и назовешь, столь они были высоки чином и званием! – тоже выказывали Леле свое расположение. Словом, только выбирай!

Однако долго выбирать не следует, отлично понимала Ольга Васильевна. Во-первых, про-выбираешься: слишком разборчивые, как известно, остаются у разбитого корыта. Кроме того, как бы не закружилась у Лели голова, уже больно много внимания, много лести, много шума вокруг нее. Потом будущему супругу трудно будет поладить с зазнавшейся красавицей, ну а упреки кому достанутся? Матери, конечно, которая не сумела девушку должным образом воспитать и вовремя окоротить! Поэтому, как только генерал Афанасьев, вдовец, но бездетный, владелец трех имений в разных губерниях России, носивших названия одинаково сакраментальные – Афанасьевы, нескольких доходных домов в обеих столицах, особняка на Невском проспекте, поместья на юге Франции, близ Ниццы, и состояния, которое если и нельзя назвать баснословным, то легко можно было определить как весьма значительное, дал Ольге Васильевне понять, что в Леле Карнович он видит ту, которая может скрасить его одиночество и скорбь по дорогой супруге, скончавшейся два года назад, – Ольга Васильевна оживилась и уже увидела себя в мечтах генеральской тещей, отдыхающей на террасе французского особняка с видом на теплое море. Супругу пока ничего не было сказано... Ольга Васильевна предвидела, что возраст будущего зятя, который окажется на десять лет старше тестя и тещи, а жены, стало быть, на тридцать... сыграет тут роковую роль. Валерьян Гаврилович, сердито думала его жена, ведь не способен смотреть в будущее, он не в силах понять, что вскоре старик генерал может покинуть мир сей, оставив Лелю богатейшей вдовой! Словом, решительный разговор с мужем Ольга Васильевна пока откладывала, генерала Афанасьева всячески привечала – и допривеча-

лась до того, что ее стратегический замысел стал известен младшей дочери, которая, выслушав нашептывания вездесущей Анюты, сперва недоверчиво рассмеялась, потом остолбенела от ужаса, потом встряхнулась и решительно сказала:

– Не бывать этому. На что угодно пойду, а генеральшей Афанасьевой не стану!

Одним из шагов этого самого «на что угодно» и было тайное путешествие Лели на городскую ярмарку в сопровождении Эрика Пистолькорса – негнущегося, недовольного, испуганного и облаченного в парадный костюм старшего лакея.

Сама Леля выглядела в розовом ситцевом платье и беленьком платочке Анюты до того прелестно, что ни один мастеровой или даже военный не преминувал на нее заглядеться, и в конце концов даже Эрик немножко отмяк, обнаружив, что денек нынче – просто на славу, грех в такой день ворчать и гневаться, тем более что под руку с тобой идет редкостная красавица, в которую ты влюблен настолько явно, что позволяешь ей вить из себя самые причудливые веревки.

Эрик Пистолькорс давно сделал бы Леле предложение, да видел, что неугоден Ольге Васильевне. Родители его были небогаты, и хоть перспективы по службе открывались перед ним самые блестящие, все же это были лишь перспективы... лишь настоящее питает будущее, а, к сожалению, не наоборот... Вдобавок хоть положение Карновичей и было достаточно видным, однако они не могли позволить себе жить в самом деле на широкую ногу. До сих пор приходилось еще залатывать прорехи, нанесенные подготовкой приданого и устройством свадьбы для старшей дочери, Любочки. Эрик не был охотником за богатыми невестами, но, встретиться ему такая, не отказался бы!

Приданое жены пришлось бы ему очень кстати. Хоть говорить о деньгах и моветон, а все же, чтобы служить в гвардии и особенно – в кавалерии, – нужны были деньги очень немалые. «Честь мундира» требовала постоянной поддержки. Форма у кавалергардов поистине блестящая, шитье дорогое, да еще нужна форма бальная, две шинели – это самое малое, обычная шинель и «николаевская», с широким, до талии воротником в виде пелерины, для ношения вне строя... Лошадей нужно две или три, да не абы каких, а чистокровных! А расходы по Офицерскому собранию, участие в устройстве балов, приемов, парадных обедов, всяческих подношений командирам и шефу полка... К тому же этот дорогостоящий, ну просто разорительный обычай: после свадьбы передать в Офицерское собрание серебряный столовый прибор... На все нужны деньги! Ну ладно, прибор один раз купил – и довольно, а все прочие расходы? Нет, без жены с богатым приданым не обойтись, и хоть офицерство, особенно гвардейское, было особой кастой, которая предпочитала только свою привилегированную среду, а все же начальство никогда не запрещало вступать в брак с девицами из семей просвещенного купечества, заводчиков, фабрикантов. Командиры понимают, сколь дорого стоит офицерский лоск!

У Лели вряд ли будет достаточно богатое приданое, жить на очень уж широкую ногу не придется.

Хотя не в богатстве дело, вдруг печально подумал Эрик... Он понимал, что ему нужна жена попроще, чтобы над ней властвовать. Над Лелей-то не повластвуешь, поэтому Леля не для него. Наверное, Эрик такую найдет – послушную, с деньгами... А пока, в самом деле, надо отбросить чопорность, привитую с детства – в семье Пистолькорсов из рода в род все мужчины становились военными, их готовили к этой стезе чуть ли не с первых дней жизни, – и просто наслаждаться жизнью. Пусть Лелю Карнович ему не отдадут, да и сам он к ней не посватается – но ведь именно его она решила вовлечь в эту авантюру: прогулку по ярмарке! Не ротмистра Самойлова, не инженера-шпака... этого, как его... забыл фамилию, да и шут с ним... не паркетного шаркуна Ненарокова-младшего, а его, Эрика-Герхарда Пистолькорса! Сейчас Леля с Эриком рядом, ее улыбка сияет ему, ее смех звенит для него, так надо радоваться жизни! Тем более что он никогда в жизни не был на такой ярмарке...

* * *

– Мой мальчик Вилли все еще влюблен в эту маленькую глупенькую девочку, – проворковала Амалия, осторожно проводя пальцем по голому животу наследника прусского престола, отчего задрожали и живот, и наследник... Не поколеблен остался только престол, да и то лишь потому, что еще не принадлежал принцу. – Мой мальчик Вилли все еще не оставил своих маленьких глупеньких надежд... Мой мальчик Вилли все никак не хочет понять, что эта маленькая глупенькая девочка никогда не станет его маленькой глупенькой женошкой...

– С чего ты взяла, что не станет?! – так и вскинулся Вилли, раздраженно отбрасывая руку Амалии со своего живота. – И перестань! Я боюсь щекотки, ты же знаешь!

– Ты боишься щекотки *потом*, – дразнящий шепоток Амалии шелестел у самого его уха. – А *перед тем* ты ее не боишься, она тебе очень нравится. Давай поменяем все местами! Пусть сейчас будет не *потом*, а *перед тем*! Начнем с самого начала, ты не против?

И, взяв Вилли за руку, она положила ее на свой поросший кудрявыми черными волосками заманчивый бугорок и начала водить по нему, постанывая и разводя ноги.

Вилли, как обычно, вспыхнул мгновенно. Его постельная неутомимость была предметом насмешливой зависти или завистливых насмешек, как угодно, и придворных, и прочих пруссаков. По рукам ходили списки осчастливленных им девиц и дам, списки рогоносцев – мужей и женихов... Все особы, к которым лазил под юбку будущий Вильгельм II, принимали таинственно-блаженный вид, как только от них требовали оценки жеребьячьих качеств принца, однако, приди им охота развязать язык, они могли бы сказать, что красавчик Вилли похож на сухую солому: мгновенно вспыхивает, но так же мгновенно стораает, и точно так же, как соломе, ему совершенно наплевать, согреет ли кого-нибудь его огонь. Амалия, впрочем, была достаточно опытна, чтобы успевать согреться даже от самого торопливого костерка: не зря она была той спичкой, от которой он сам когда-то загорелся, а проще говоря, именно Амалии поручил некогда дед Вилли, Вильгельм I, познакомить принца с постельными удовольствиями. Вилли было четырнадцать, Амалии – около тридцати... Конечно, дед мог бы найти помоложе, но более опытной и умелой дамы в святом деле развращения юнцов отыскать было сложно! Очень многие мальчики из хороших семей были обязаны ей первыми сладострастными телодвижениями... У Амалии была отменная репутация, почти как у опытной гувернантки, которая – с отличными рекомендациями! – переходит из семьи в семью, вот только поиски гувернанток обычно берут на себя женщины, ну а переговоры с Амалией Клопп брали на себя главы семейств; как правило, *betriebsverhalten*⁴ Амалии ими и проверялись, а потом, после горячего одобрения, фройляйн наставница принималась за дело. Так было раньше, но с тех пор, как пять лет назад она заполучила в свои умелые ручки наследника престола, Амалия хранила ему верность. Это не требовало от нее особых усилий – Вилли был поистине неутомим. Многие хвори и истерики его отроческих лет объяснялись слишком ранним половым созреванием и самозабвенным пристрастием к греху Онана. Вилли готов был самоудовлетворяться даже в бальном, да что в бальном – даже в тронном зале, если вдруг приходила охота... собственно, он и теперь не слишком изменился, потребность в немедленном получении удовольствия у него осталась прежней, только он уже не рукоблудствовал, а задирал юбки Амалии, это чаще всего, или любой другой понравившейся ему женщине. Возражений он, как правило, не встречал. Пруссия семидесятых-восьмидесятых годов девятнадцатого века была в этом отношении столь же патриархальна, как и во времена Фридриха Вильгельма Бранденбургского, знаменитого и своими полководческими талантами, и своим блудничеством.

– Ух, хо-ро-шо! – наконец откинулся Вилли на постель и засмеялся сыто, доволью.

⁴ Рабочие качества, поведение в процессе эксплуатации (нем.).

– А все же мой мальчик Вилли все еще влюблен в эту маленькую глупенькую девочку, – вздохнула Амалия, утыкаясь в его плечо и легонько покусывая. – Ай-ай, плохой мальчик!

– Да почему ты решила, что я в нее влюблен? – сердито буркнул Вилли, отталкивая любовницу, как расшалившуюся кошку.

– С того, что ты валяешь в постели меня и изливаешься в меня, а сам в это время выкрикиваешь ее имя, – грустно сказала Амалия. – Честно говоря, мне это надоело, да и это имя – Элла – мне никогда не нравилось. К тому же, посмотри, нет, ты только посмотри на меня! – Она указала на свои груди, бедра, живот, которые были испятнаны маленькими красными вмятинами... если присмотреться, можно было разглядеть крошечные ромбики, порою отмеченные даже порезами. Эти ромбики точь-в-точь повторяли огранку любимого перстня Вилли, который тот носил не снимая. – Но я знаю, что, подавая руку Элле, ты всегда поворачиваешь свой перстень камнем наружу!..

...Перед тем, как взять Эллу за руку, Вилли всегда поворачивал перстень алмазом наружу. Обычно он носил его камнем внутрь, чтобы грани впивались в кожу того, кому принц изволил пожать руку. Некоторым придворным приходилось терпеть это дважды в день, при встрече и при прощании. Разумеется, наследник прусского престола не совал руку кому попало, но все же прибегал к рукопожатию гораздо чаще, чем любой монарх, настоящий или будущий. Кто-то из придворных Вилли и его отца, кайзера Фридриха Третьего, однажды обмолвился среди близких друзей, что иногда завидует *des gentilhommes de la manche* французских принцев крови. Эти благородные господа были сопровождающими лицами при инфантах, однако обычай запрещал им прикасаться к руке принца, и они трогали его лишь за рукав, *la manche*, отчего и возникло их название. Если за руку трогать запрещено, значит, перстень в твою беззащитную ладонь наверняка не вопьется. А впрочем, некий Цезарь Борджиа тоже имел такую привычку, как Вилли, вот только из его перстня выступали два львиных когтя, которые он смазывал ядом... Это было смертельное рукопожатие, так что Вилли поступал куда более милосердно. Однако ему нравилось смотреть в глаза тех, кто достаивался его рукопожатия. Ему нравилось видеть страх... Но в глазах Эллы он хотел видеть не страх, а любовь, поэтому и поворачивал перстень камнем наружу и осторожно, бережно брал ее ладонь в свою. Пальцы у Эллы были такие тонкие, такие нежные... она вся была тонкая, хрупкая, как цветок – один из тех лесных цветов, которые она обожала. Единственный раз Вилли удалось вызвать на ее губах благодарную улыбку – сорвав для нее охапку анемоны, когда поехали на прогулку ранней весной и углубились в старый буковый парк.

Он долго ползал на коленях по сырой прогалине, умиляясь силе собственной любви – любви взрослого мужчины двадцати одного года! – к этой пятнадцатилетней красавице, своей кузине Элизабет Александре Луизе Алисе, второй дочери Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы.

Рейтузы на коленях промокли и почернели. Под ногтями залегла грязь. Вилли обычно очень следил за аккуратностью своих ногтей, но этой грязью он гордился, как дуэлянт гордится следами рапиры на лице – напоминаниями о многочисленных поединках, в которых он принимал участие. Вилли был уверен, что Элла заметит и грязные колени, и грязные руки и оценит те жертвы, которые влюбленный принц принес ради нее.

Опустив лицо в цветы, Элла долго наслаждалась тонким ароматом, а потом, взглянув на Вилли с улыбкой, спросила, знает ли он, как переводится слово анемона.

– Конечно, – сказал Вилли, у которого всегда было отлично по латыни. – Дочь ветров. Не зря в народе ее называют *windröschen*, ветреница. А ты знаешь, почему этот цветок появляется ранней весной? Когда изгнанные Адам и Ева уходили из рая, на земле шел снег. Несчастных праотцев осыпали крупные белые хлопья. Ева горько плакала от страха и холода. Пожалев бедную Еву, Бог превратил хлопья в цветы, и на смену зиме пришла весна.

Вилли был очень горд собой – до чего кстати вся эта ерунда вспомнилась! Он с видом победителя взглянул на Эллу, ожидая если не аплодисментов, то хотя бы восторженной улыбки, однако не дождался ни того ни другого. Напротив, в глазах Эллы мелькнула легкая обида... и больше она никогда не улыбалась Вилли.

Никогда!

И вышло, что зря он ползал на коленках, и пачкал руки, и рвал эти дурацкие цветы.

Он и не подозревал, что Элла сама хотела рассказать ему историю появления анемоны! И ее самолюбие было задето, а люди, которые задевали ее самолюбие, немедленно становились ее врагами. Неважно, кто эти люди были, даже будущие короли! Собственно, Элла ведь и сама была принцессой, а потому нет ничего удивительного в том, что к принцам она относилась не с таким пиететом, как прочие.

Словом, ее и без того прохладное отношение к Вилли вовсе похолодело.

Ну что ж, осталось не так мало людей, кто всегда был рад улыбнуться наследнику прусского престола, даже если ему не хочет улыбнуться прелестная гессен-дармштадтская кузина! Тем паче Вилли очень внимательно ловил эти улыбки, ему так хотелось быть очаровательным! Он хотел очаровывать характером, знаниями, величием своего положения – свои письма, даже частные записочки многочисленным любовницам он всегда подписывал «Вильгельм Великий», – любовными интригами, внешностью, выдумками, увлеченностью спортом... Не получалось. Характер у Вилли был довольно противный – ему казалось, что все вокруг изо всех сил стараются не глядеть на его левую руку, которая была короче правой на пятнадцать сантиметров, а все-таки глядят, втайне насмехаясь над его уродством. Руку повредил врач, доставая бездыханного младенца Вилли из чрева его бесчувственной матушки, принцессы Виктории Прусской, одурманенной хлороформом. В конце концов ребенок ожил, матушка пришла к себя, но то, что у Вилли в суматохе оказались порваны мышцы левой руки, заметили лишь через несколько дней. Сначала рука вообще не действовала, потом начала потихоньку двигаться, и вскоре вся жизнь Вилли превратилась в сплошную тренировку этой руки. А также доказательства остальным, что он не хуже – он лучше их! Он стал прекрасным пловцом, фехтовальщиком, теннисистом и наездником, он великолепно танцевал, он... он... он... Отто Бисмарк, премьер, канцлер Германии, как-то раз сказал о своем будущем императоре:

– Он похож на воздушный шар. Если не держать его в руках, неизвестно, куда он полетит.

Нашлись добрые люди, которые передали эти слова Вилли. Он обиделся, обозвал Бисмарка противным старикашкой, но постарался как можно скорей забыть обиду, потому что все-таки не был идиотом и прекрасно понимал, что наследником престола надо всего лишь родиться, для чего особого ума не требуется, а первым министром и канцлером – стать, для чего нужен не только ум, но и характер. Случись что с ним, Вилли, ему на смену придет младший брат Генрих (подобно тому, как бездетного прусского императора Фридриха Вильгельма IV сменил его брат Вильгельм I, дедушка Вилли), а вот поди-ка найди второго такого «железного канцлера», как Бисмарк...

Впрочем, положение Вилли обеспечивало ему если не искреннюю любовь окружающих, то хотя бы почитание. Кроме того, он рано начал волочиться за хорошенькими женщинами и знал, что дамы, будь они искренни или лживы, одинаково хороши для ночного, а иногда и дневного употребления. Но вся разница в том, что Элле он не хотел употреблять – на Элле он хотел жениться...

Их общая бабушка, английская королева Виктория, очень желала этого брака для своей любимой внучки. Великий герцог Людвиг, отец Эллы, – тоже. Но Элла нипочем не соглашалась!

– Папа, не надо, не надо... Не уговаривайте меня! – опутив голову, бормотала она в ответ на уговоры отца. – Я чувствую, что имя Элизабет дали мне не просто так!

Великий герцог Людвиг смотрел на дочь не без уныния. Вот уж воистину, правильно говорят англичане (а ведь Элла частично англичанка по крови!): «He that has a ill name is half hanged» – у кого плохое имя, тот наполовину повешен. Да уж... Дочь его назвали Элизабет в честь святой Елизаветы Тюрингской. Она жила давным-давно, в XIII веке, во времена Крестовых походов. В ее житии рассказывалось, что святая Елизавета много претерпела от недоверчивого мужа и до конца дней своих скиталась, служа людям и благотворительству.

На взгляд великого герцога, все эти «претерпения», описанные в житии святой, были сущей ерундой, выдуманной для того, чтобы дурачить такие легковверные головы, как у Эллы, а на супруга Елизаветы Тюрингской была и вовсе возведена жесткая клевета. Супруг сей, принц Людвиг (возможно, великий герцог испытывал к нему особенное сочувствие, как к тезке?), был обвинен с Елизаветой, когда той едва исполнилось четырнадцать, и якобы запрещал ей милосердствовать. Скажем, однажды муж встретил Елизавету на улице, когда она несла хлеб в переднике, чтобы передать его бедным. Интересно, почему принцу – принцу! – могло сделаться жалко нескольких несчастных кусков хлеба (много ли уместится в женском переднике!)?! Принц велел (конечно, с угрозами и бранью, как расписывало житие!) раскрыть передник – и обнаружил, что он полон роз. А как-то раз Елизавета положила прокаженного младенца в свою постель. Супруг разгневался (видит Бог, думал великий герцог Людвиг, кто бы не разгневался на его месте, ведь у принца и Елизаветы было трое своих детей, которых слишком человеколюбивая мать обрекала на страшную болезнь?!), отбросил покрывало и обнаружил не кого иного, как младенца Христа, лежащего там...

Великий герцог Людвиг не думал, что его тезка был одержим воинствующим неверием, иначе принц Тюрингский не принял бы участие в шестом Крестовом походе ко Гробу Господню. Однако – видимо, в награду за свою чрезмерную религиозную ретивость – он заразился чумой в Италии и умер. Елизавета принесла обет безбрачия и решила служить обездоленным, вступив во францисканский орден, основала в Марбурге больницу для бедных, ухаживала за ними, а в остальное время собирала подаяние на нужды госпиталя. Затем она скончалась – ей было всего двадцать четыре года...

Елизавета Тюрингская была религиозной фанатичкой и истеричкой (по мнению великого герцога, которое тот, понятное дело, не афишировал). Но множество женщин названы этим именем – и живут себя счастливо, и не сходят с ума, и не становятся воинствующими девственницами. Почему же Элла?.. Ну ладно, склонность к истерии у нее от покойной матери, великий герцог не сомневался. Он любил свою жену, но, видит Бог, до чего же трудно мужчине выносить страстную необходимость женщины видеть тебя ежеминутно пришитым к своей юбке или покорно лежащим под своим каблуком!..

А письма герцогини Алисы? Людвиг не ощущал никакого умиления, читая их, – только уныние. «Я тоскую по тебе днем и ночью, мне тебя очень недостает. Но разве можно это передать словами? Я мечтаю побеседовать с тобой... Твой портрет всегда у меня под подушкой, я просыпаюсь, целую его и словно бы жду, чтобы он заговорил со мной. Как холодно и одиноко мое ложе без тебя...»

Конечно, Людвиг писал в ответ, а как же иначе, да и любил он жену, но только не понимал, почему об этом нужно говорить постоянно? Однажды решился, обмолвился – не упрекай-де меня в невнимательности, ведь в моей мужской жизни, в военной и политической, существует масса вещей, о которых ты не имеешь ни малейшего представления, да и не нужно тебе о них знать! В ответ Алиса разразилась очередными упреками:

«Ах, как мило, как мило, что ты пишешь мне так часто. Конечно, это очень приятно, я очень рада, когда приходят твои письма. Но, cher Loui, твои письма напоминают детские... Да и то я была бы изумлена, если бы наши дети писали мне такие послания, где нет ничего, кроме сведений о блюдах, съеденных за обедом, о маршруте их прогулок, где все покрыто флером детской наивности или глупости.

Но, когда так пишешь ты, ты ограничиваешь меня в моем жадном интересе к тебе и твоим делам... Когда от тебя я получаю эти жалкие отписки вместо подлинно супружеских писем...

Не сомневаюсь, что мы привязаны друг к другу, но эта привязанность далека от любви. Ты не представляешь, насколько сильно я разочарована! Невыносимо разочарована! Яехала в Дармштадт, любя тебя и желая видеть в тебе истинного спутника жизни. Поверь, с человеком, с которым можно делиться интересами, духовными запросами и радостями удовлетворения этих запросов, я была бы счастлива где угодно, не обязательно во дворце, но даже в скромной хижине. Я мечтала о супруге, любовь которого ограждала бы и защищала бы меня от мира, от тех бед и забот, которые несет он – и гнет которых еще больше отягощен моей собственной, такой непростой натурой, моей экзальтированностью, моей богатой фантазией.

Если бы ты мог знать, до какой степени я огорчаюсь, когда смотрю сейчас на пройденный нами путь и вижу, что, несмотря на мои самые добрые намерения и многочисленные усилия, эти надежды разбились вдребезги... Возможно, тебе, любимый мой, кажется, что я к тебе несправедлива в этих упреках, что зря взваливаю на тебя вину за неудачи в нашей жизни... ну что ж, вероятно, ты прав, возможно, я сама во всем виновата.

Ведь ты тоже разочаровался во мне, и видеть это твое разочарование мне особенно мучительно. Я тоже не такая женщина, с которой ты желал бы провести жизнь. Остается лишь признать свою вину. Но теперь нельзя вернуться назад и заново прожить уже прожитые годы – так будем же помогать друг другу в покое, счастье и взаимном уважении. Напоминать друг другу о прошлом, о прошлых обидах или неудачах – это все равно что надевать друг на друга оковы, а я мечтаю всего лишь быть тебе другом, быть нужной тебе.

Вспомни, как часто я хотела побеседовать с тобой о по-настоящему серьезных вещах, как часто у меня возникала в этом потребность, но ты не отвечал мне, и мы так и не смогли понять друг друга. Я чувствую, что подлинное единение любящих – такое единение для нас невозможно, ибо мы слишком разные, наши мысли идут по разным путям и никогда не смогут совпасть. На свете так много всего, без чего я не могу обходиться, но ты об этом ничего не знаешь. Если я расскажу, ты не сможешь понять, ты усмехнешься снисходительно... О, ты лучший из мужей, твоя доброта ко мне огромна, ты необычайно заботлив и нежен. Я люблю тебя, мой дорогой, дорогой супруг, и именно поэтому меня настолько сильно печалят мысли о том, что жизнь наша далека от совершенства, что порой мы с трудом находим общий язык... Но я не виню тебя, никогда не виню тебя...»

Когда великий герцог читал это нанизывание словес, это повторение одного и того же на разные лады, ему казалось, будто он читает некий роман, настолько натянутыми, выдуманскими, ненатуральными казались ему страсти, обуревавшие жену. Письма, чудилось, шли из головы, а не из сердца. В словах жены Людвиг не находил истинного пыла – в них была маниакальная страсть к преувеличениям, к высасыванию из пальца трагедий, продиктованных поведением любимых книжных героинь (а Алиса непотребно много читала чувствительных романов!) и желанием прожить жизнь не свою, а какой-нибудь там леди Мэри, или мисс Аделаиды, или этой, как ее... да ну их к бесам, всех этих глупых девок!

Нет, совершенно верно писала Алиса, что она сама себе придумывала беды, сама отягощала гнет внешнего мира буйством своей фантазии!

К несчастью, подобное наслаждение душевной истерией герцог Людвиг порою замечал в своей второй, самой красивой дочери Элле... И ее болезненная страсть видеть не явную жизнь, а жизнь придуманную, более того – пытаться втиснуть жизнь явную в прокрустово ложе самостоятельно вырезанных, вызолоченных, разукрашенных рамок – его очень пугала.

У Эллы была страсть класть рядом с собой на подушку что-нибудь, например бант, который она носила целый день. Не развязанную ленту, а именно бант. И она доводила до нервных припадков себя, а до слез – служанок, которые осмеливались бант не завязать или завязать не в точности с той же аккуратностью, с какой он был «создан» днем. Элла заливалась слезами

над «бедным бантиком», засыпала, уткнувшись в него лицом и шепча ему нежные слова... А утром забывала про него начисто, вечером на ее подушке лежал другой фаворит...

Обычно говорят в таких случаях, что девке надо мужа хорошего, который своей палкой из нее всю дурь выьет. Под палкой подразумевается не трость, не дубинка, не прут, не спиц-рутен и не всякие прочие «ударные инструменты». Под палкой подразумевается понятно что. Великий герцог Людвиг уповал бы на сие, кабы не пытался всю жизнь своей собственной палкой переделать мать Эллы. Однако Алиса родила семерых детей, но от истерической меланхолии не избавилась до самой смерти. Возможно, конечно, палка была не та, и, как ни страдало самолюбие великого герцога при этой мысли, он ее все же допускал... И лишь надеялся, что Элле в этом смысле больше повезет. Правда, она болезненно застенчива, она даже моется сама, никого к себе не подпуская, и показывается перед горничными только в сорочке... Но, конечно, с возрастом это пройдет, особенно если муж окажется настойчив. О принце Вилли и его настойчивости по отношению к женщинам ходили слухи самые баснословные... Даже если эти слухи делить на два, а великий герцог, как человек понимающий, так и делал, все равно выходило, что Вилли оснащен природой более чем щедро... На этот брак Людвиг весьма надеялся, и каково же было его горе, когда Элла наотрез отказалась выходить замуж за кого бы то ни было, поклявшись навсегда остаться девицей («Ни один мужчина никогда не увидит меня обнаженной!» – воскликнула она со знакомой и столь удручающей Людвигу нервической пылкостью), – и практически одновременно с этим до него дошла весть, что Вилли категорически отказывается от всяких притязаний на руку Эллы и предпочтет видеть своей женой кого угодно, только не эту *Спящую Красавицу*.

Вообще-то Вилли хотелось употребить другое слово, но он умел быть дипломатом. Когда хотел.

* * *

Ярмарка располагалась на Сенной. На одной стороне площади вот уже три недели, начиная с марта и до самого Благовещения, строили балаганы и прокладывали деревянные тротуары. И стоило настать Благовещению, как все, дети и взрослые, стар и млад, – поспешили на ярмарку. Играл военный оркестр, и Эрик невольно расправил грудь, подтянулся, хотя звучали только вальсы и польки. Волны звука накатывали – и улетали, кружили голову... Эрик был изумлен, насколько счастливыми все выглядели на этом сияющем солнце. Чудилось, каждого зажег лучик Лелиной улыбки.

Кругом стояли красочные ларьки с игрушками, тюками материй, старинными вещами, украшениями, книгами и сладостями. Леля так пристально разглядывала леденцовых, на палочке, петушков, что бойкий торговец пристал к Эрику:

– Купи девке леденчика, слаще целоваться будет!

Эрик чуть было не отправил свой кулак по направлению к его физиономии, однако Лелин локоток дрожал под его рукой – она насилу сдерживала смех, – и Эрик, сняв перчатку, сунул руку в карман... к своему изумлению, обнаружив там копеечную монету. В обмен он взял у болтливого торговца петушка на палочке – розового, как платье Лели, – и она сразу начала его лизать. Почему-то когда Эрик видел ее губы и язык, которые вкрадчиво касались головы и хвоста петушка, у него мутилось в голове.

Вокруг расхаживали продавцы воздушных шаров и мальчишки, предлагающие водяных чертиков. Это была самая модная игрушка. Выглядела она как стеклянная пробирочка с водой, сверху затянута резиновой пленкой. Внутри плавал крошечный стеклянный чертик с рожками, хвостиком и выпученными глазками. Он держался на поверхности воды, но, стоило нажать пальцем резиновую пленку, он опускался вниз, крутясь вокруг своей оси, затем снова поднимался.

Эрик и Леля смотрели на бесов как замороженные. Да и все вокруг смотрели на них так же. Чертенята выглядели совершенно живыми, веселыми и озорными.

Леле очень хотелось купить водяного чертика, и у нее в карманчике платья лежало два пятака, которые ссудила ей верная Анюта (у самой барышни Карнович в жизни своей копейки не было), однако она удержалась. У нее были на эту ярмарку куда более серьезные виды, чем с чертиками играть! Это, конечно, очень хорошо, что Эрик не был больше таким... застегнутым на все пуговицы, словно бы даже говорящим по стойке смирно, он стал проще, доступней и еще красивей (а Эрик был одним из самых красивых мужчин из тех, которые крутились вокруг Лели!), он словно бы даже моложе сделался, но вовсе впадать в детство Леля не собиралась ему позволить. Поэтому – не до глупых игрушек городской бедноты!

Эрик даже не замечал, что, вроде бы беспцельно бродя по ярмарке, они на самом деле двигались в определенном направлении, причем Лелина мягкая ручка направляла выбор этого направления пусть и незаметно, но властно и настойчиво. И вот они вдруг – вдруг! – оказались перед небольшой деревянной загородкой, расписанной пальмами, храмами, слонами, леопардами, людьми в тюрбанах...

Около загородки на шатком сиденье примостился человек в больших круглых очках и помятой шляпе. На нем был сюртук – страшно поношенный, да еще с чужого плеча. Вид человек имел невероятно жалкий. Однако при виде приближающейся пары он вдруг вскочил – сиденье его оказалось тростью-стулом, очень популярным у художников, стариков и прочего никчемного, по убеждению Эрика, сброда, – оживился и хрипло воскликнул:

– Насладитесь путешествием в Индию! Прошу вас! Незабываемые впечатления! Иллюзорные картины!

Эрик поглядел на загородку с презрением и попытался было пройти мимо, однако Леля стиснула его руку, давая знак остановиться, и весело спросила у человека в очках:

– А как же мы туда попадем? Воздушного шара я не вижу, а пешком далеко!

– Зачем вам воздушный шар? – изумился человек. – Вы только войдите вон туда, накройтесь черным покрывалом – и начнутся чудеса чудесные! Вмиг попадете в Индию!

– Вмиг? – недоверчиво спросила Леля.

– Клянусь! – приложил руку к сердцу человек.

– Бросьте, Ольга Валерьяновна, – пренебрежительно сказал Эрик. – Ничего интересного, уверяю вас. На самом деле это называется панорама. В рамочку поочередно всовываются картинки – а мы их смотрим через особенное увеличительное стекло. Я такие штуки уже видел. Путешествие в Индию... Ха-ха! Обыкновенное шарлатанство!

– Господи, да что ж на свете не шарлатанство? – с изумлением спросил хозяин загородки. – Куда, извините, ни плюнь... Я хоть не скрываю, что иллюзиями головы людям морочу. А прошу за сие всего какой-то пятак. С человека. Но коли вы пройдете вдвоем и вдвоем станете смотреть, одновременно, то оба за пятак сможете полюбоваться.

– Полюбоваться! – фыркнул Эрик. – Было бы там чем любоваться!

И тут же он сам себе ужаснулся. Воистину, костюм лакея произвел на него разрушительное воздействие! Представить, чтобы конногвардеец Пистолькорс вступил в разговоры с этой потертой шушерой, как сие ничтожество с этим его стулом-тростью, – невозможно прежде было такое представить! А теперь оный Пистолькорс с этой шушерой не только разговаривает, но даже пререкается! Эрик прикусил язык и понурился, отчаянно пожалев, что поддался на Лелины уговоры. Но вот ее пальцы скользнули в его ладонь – и он снова ощутил себя счастливым, и мир вокруг засиял многоцветно, и даже у потертой шушеры сделалась вполне человеческая и даже приятная, хоть и по-прежнему жалкая физиономия.

– Пойдемте, Эрик! – взмолилась Леля. – Пойдемте, а? Вы это видели, а я-то нет! Мне ужасно любопытно! А пятак у меня есть, мне Анюта дала. Пойдемте!

И, не дожидаясь согласия своего спутника, она прошмыгнула в загородку.

Посреди плотно убитого ногами клочка земли стояло просторное деревянное кресло с прямой, очень высокой спинкой, на которую была накинута черная материя, а напротив нее – треножник с подставкой. На подставку водружен был ящик, который выглядел весьма таинственно и внушительно благодаря выпуклому стеклу, которое было прикреплено к одной из его сторон.

– Скорей, скорей! – Леля оживленно села в кресло, похлопала около себя ладонью: – Садитесь, Эрик, вон тут сколько места!

В самом деле – сиденье выглядело весьма широким, однако лишь только Эрик сел, как ему почудилось, что кресло их обоих с Лелей странно стиснуло. Или он сам, конногвардеец Пистолькорс, оказался не столь уж строен, как ему всегда казалось?.. Словом, они теперь были самым интимным образом прижаты друг к другу.

– Может, я лучше постою? – нерешительно промямлил Эрик, однако шушера замахал руками:

– Чтобы что-нибудь увидеть, надобно сидеть, а если угодно глядеть в одиночестве, то придется еще один пяточок платить.

– А у меня больше нету, – слукавила Леля. – И что такое, Эрик, вы что, не желаете рядом со мной сидеть?! Да окажись тут Феденька Ненароков, или тот француз из посольских, Лепелетье, или...

Она не договорила, умолкла негодуя, да не требовалось и продолжать: Эрик уже вообразил сонм Лелиных поклонников, которые полжизни отдали бы, лишь бы оказаться на его месте, – и, осознав свою глупость, свое пренебрежение к дару судьбы, словно прилип к жесткому сиденью кресла.

– А теперь одну минуточку, господа, – сказал шушера, – только одну минуточку! – И с этими словами он накинул на голову Лели и Эрика черную ткань, заодно натянув ее и на треногу, так что молодые люди оказались как бы в некоей светонепроницаемой палатке.

– Ой! – сказала Леля и прижалась к Эрику еще ближе. Теперь ее локоть касался его бока, и что-то было очень странное в этом прикосновении, но он никак не мог понять, в чем же странность.

Да еще и чертова шляпа поехала на глаза... Эрик поспешно снял ее, нечаянно толкнув Лелю, хрипло извинился...

– Знаете что, – пробормотала Леля, – вы закиньте руку на спинку кресла, а то очень уж тесно.

Эрик торопливо исполнил ее просьбу. При этом ладонь его ненароком скользнула по боку Лели, а потом по ее груди – и он вдруг сообразил, что казалось ему странным. На Леле не было корсета! Под платьем – тело, живое женское тело...

Ну да, она ведь надела платье горничной, а горничные корсетов не носят!

У Эрика зашумело в голове. Ему приходилось обнимать женщин без корсетов и даже трогать их голые груди. Что тут скрывать, он порою хаживал к дамам, которые сделали любовь своим промыслом. Страсти с мальчишками он брезгливо ненавидел, а предаваться утехам с женщинами ему очень нравилось, как, впрочем, и большинству его приятелей. Собственно, благодаря одной из таких дам Эрик впервые отведал плотской любви. А что такого?! Надо же с кем-то это испытать! Не с приличными же барышнями, верно? Опять же, муж должен обучать свою жену науке страсти нежной, которую воспел Назон, а для этого он сам прежде всего должен пройти курс, либо ускоренный, либо подробный, это уж кому как повезет. Но, как это ни странно, в его мысли о Леле никогда не вкрадывалось вождление. Вернее сказать, Эрик гнал его от себя, считая чем-то непристойным и оскорбительным по отношению к приличной девице из приличной семьи. Но сейчас вдруг почудилось ему, что не Леля сидит здесь рядом, и не ее невинная грудь нервно вздымается под его заблудившейся рукой, а находится здесь какая-нибудь Зизи (или Нана, или Мими... отчего девочек в частных заведениях всегда называют

этакими собачьими кличками?!) – в кружевной рубашечке и панталончиках с воланчиками и оборочками, а может, и без оных кружавчиков, совсем-совсем голенькая... Ах, чудится, полжизни отдал бы сейчас Эрик за то, чтобы оказаться в обществе именно такой особы, чтобы штаны расстегнуть да схватить ее, да насадить на то, что из штанов так и рвется!..

Ну где же чертова Индия?! Чего медлит шушера?! Может, картины, пусть даже и иллюзорные, отвлекли бы Эрика от нестерпимого телесного томления?!

Слава те! Впереди слабо засветился прямоугольник, на котором возникло светлое видение большого белого храма, который был странно выпуклым, несколько даже пузатым, – наверное, благодаря увеличительному стеклу. Леля даже фыркнула от смеха! Потом храм задержался и поехал вправо, а слева на его место вдвинулась очередная картинка, на которой изображен был огромный слон. Ну, слону пристало быть пузатым, поэтому вид его не вызывал насмешки. Затем явилось изображение полуголого и тоже пузатого человека в тюрбане, с дудкой в руках. Перед человеком изогнулась в виде вопросительного знака змея. Картинка начала сдвигаться, предоставляя место другой, да вдруг застряла и задержалась. Видимо, хозяин аттракциона пытался ее вытащить, да не мог. Нарисованная змея извивалась почти как живая. Леля слабо пискнула и еще тесней прижалась к Эрику. Его словно огнем пронзило: вообразилась теперь уже не какая-нибудь Нана или Зизи, а Леля в одеждах Нана или Зизи... в смысле, без одежек...

– Леля... вы... Ольга Валерьяновна... – прохрипел Эрик.

Он сам не соображал, что говорит. Вообще не надо было говорить! Надо было действовать!

Он повернул голову – и оказалось, что Леля в это мгновение тоже повернула голову. Их губы сошлись – и тотчас, без малейшего промедления, приникли друг к другу в жадном поцелуе. То есть жадно впивался именно Эрик, а Леля просто подставляла ему свой невинный ротик, однако ее слабые стоны, звучащие в унисон его страстным, давали ему понять, что ей, пожалуй, приятны эти поцелуи, а может быть, даже и весьма, а то и чертовски!

Губы ее в самом деле были сладки – не обманул продавец леденцов!

– Великодушно извините, господа! – вдруг загремело над головами целующихся, подобно гласу тех труб бараньих, в которые вострубят архангелы Михаил и Гавриил, призывая грешников на Страшный суд, и наши юные грешники отпрянули друг от друга, насколько позволяла ширина, вернее, ужина кресла.

– Христа ради, простите! – продолжали греметь «рога бараньи», и Эрик не тотчас сообразил, что это всего лишь голос шушеры. – Заминочка вышла. Вы еще чуток посидите в темноте, подождите, я картиночку поправлю... или, возможно, желаете, чтобы я покрывало снял?

– Нет! – разом вскрикнули Эрик и Леля – и снова соединили уста свои в поцелуе, как выразился бы какой-нибудь, к примеру, Пушкин, доведись ему описывать сию ситуацию (надо сказать, что о Пушкине Эрик слышал лишь то, что был оный стихоплетом и знатоком по части плотских утех, поэтому его имя и пришло в конногвардейскую голову). А тем временем поцелуй, сопровождаемый также и объятиями, пылкость коих сурово регулировалась рамками кресла, длился, и длился, и продолжался неведомо сколько, пока вдруг «рога бараньи» не вострубили вновь:

– Готово! Можно снова глядеть!

Губы разомкнулись, головы отвернулись друг от друга, глаза обратились на движение пузатых картинок. Эрик, впрочем, ничего не видел, волны взбаламученной крови застилали зрение.

Ах, какие у нее губы, какой нежный стан, какие упругие груди... Где там помятым, залапанным мими-зизи-нанашкам! Век бы ее ласкать, век бы ею обладать!

Вот явиться к ее родителям и сделать предложение!

И тут же им овладело привычное уныние. Явиться-то он явится, но ведь совсем даже не факт, что его предложение будет благосклонно принято. Что с того, что они с Лелей любят

друг друга! То и дело, там и сям, и от старых, и от молодых можно слышать обветшалые, но все еще вполне жизнестойкие рассуждения о том, что любовь – это одно, а жизнь – другое, что от браков по любви нет никакого толку, что они скоро разрушаются и делают мужа и жену несчастными, в то время как разумный и трезвый расчет способен обеспечить надежную и взаимовыгодную семейную жизнь. Нет, Лелю ему не отдадут. И его родители будут против...

И Эрик Пистолькорс погрузился в пучину уныния оттого, что счастье для него невозможно, что другому достанется прелесть и очарование Лелиной юности, сладость ее губ, упругость ее груди, что другой сорвет цветок ее, с позволения сказать, невинности...

– Эрик, вы любите стихи? – спросила вдруг Леля.

– Чего-с? – печально выдавил он, вырываясь из плена своих тяжелых размышлений. – Ах, стихи! Пушкина... конечно!

До чего кстати Пушкин пришел на ум, до чего кстати!

– И я очень люблю стихи, – прошептала она. – Хотите, прочитаю одно?

И, не дожидаясь ответа (видимо, понимая, что слово «нет» прозвучать никак не может!), заговорила очень тихо, почти шепотом, но как-то так, что каждое слово проникало в сердце Эрика:

Я не могу забыть то чудное мгновенье,
Когда впервые я увиделась с тобой!
В тебе мои мечты, надежды, вдохновенье,
Отныне жизнь моя наполнена тобой!
В тебе, мой друг, еще сильно стесненье,
Условности не можешь позабыть,
Но лик твой выдает твое смятенье,
И сердцу твоему уж хочется любить!
И я люблю тебя! Я так тебя согрею!
В объятиях моих ты сразу оживешь.
Ты сжалишься тогда над нежностью моею
И больше, может быть, меня не оттолкнешь!

Эрику показалось немного странным, что Пушкин написал сие стихотворение от имени дамы. А может, это вовсе никакой не Пушкин?

– И кто автор сих чудных строк? – вежливо осведомился он и так и вздрогнул, услышав ответ:

– Это мои стихи!

Конечно! Как он мог забыть про Лелино увлечение всякими искусствами! Когда они познакомились – а это случилось на вечеринке в честь дня ангела Манечки Стерлиговой, Лелиной гимназической подруги и дочери господина полковника! – Леля читала в Манину честь какую-то стихотворную безделку, очень забавную... конечно, Эрик больше смотрел на чтицу, чем внимал рифмованным глупостям, но все же забывать такое не стоило!

– Я так и думал, – соврал он. – А когда вы их написали?

– Помните именины Мани Стерлиговой?

– Вот это да, – простодушно обрадовался Эрик, – я как раз это вспомнил, мы ведь там с вами и познакомились!

И замер, пораженный внезапной мыслью. В стихах была эта строчка... «Я не могу забыть то чудное мгновенье, когда впервые я увиделась с тобой!» Какое мгновенье Леля имеет в виду?.. Впрочем, эта мысль показалась конногвардейцу слишком смелой, и он побоялся дать ей волю.

– А вы не предполагаете, – осторожно спросила Леля, – кому эти стихи посвящены?

Его так и пронзило догадкой, счастливой догадкой!

Господи! Да неужели!

– Леля... Ольга Валерьяновна!.. – пролепетал он, снова поворачиваясь к ней и принося губами к ее губам.

Они даже не заметили, как черный занавес с них пополз, и вновь ударил громовым раскатом голос шушеры:

– Ну как, господа? Вам понравилось?

Они отшатнулись друг от друга, едва не свалив кресло, вскочили в панике.

Шушера поглядел, как Эрик торопливо нахлобучивает шляпу, а Леля покрывается платочком, окинул взором их пунцовые от смущения физиономии и припухшие губы девушки – и констатировал:

– Вижу, что да!

Эрик косился на Лелю – она отводила глаза и все поправляла, поправляла свой платочек – и понимал, что времени для сомнений у него больше нет. Мало того, что они целовались, – посторонний человек видел их целующимися, и никакой роли не играет, что это с точки зрения конногвардейца и не человек никакой вовсе, а так... шушера! Леля скомпрометирована... теперь никакие посторонние соображения не имеют значения. Теперь благородный человек должен поступить однозначно: сделать предложение. И, невзирая на протесты родителей, стоять на своем.

– Ольга Валерьяновна, – произнес Эрик, становясь во фронт, – прошу вашей руки и сердца. Согласны ли вы стать моей женой?

– Да, – пробормотала Леля, – да, я согласна! Теперь мое сердце в ваших руках! Но ах, как все это неожиданно!..

Ну наконец-то можно было поцеловаться без всякого стеснения, невзирая даже на шушера!

Между тем шушера прижмурил один глаз. Вчера на ярмарку пришла девушка со светлорусой косой, одетая в розовое платье и беленький платочек, и дала ему целковый с условием, что, когда появится другая девушка в этом же самом платье, он оставит ее с ее кавалером под черным покрывалом самое малое на четверть часа. А потом покрывало внезапно сдернет.

Тертый калач немедля понял, для чего сие потребовалось. И сейчас благосклонно кивал, наблюдая и успех предприятия, и справедливость своих догадок.

В почти непереносимом ощущении счастья шли они с ярмарки. Эрик, на руку которого опиралась Леля, уже не оттопыривал целомудренно локоть, а напротив, прижимал его к боку девушки как можно крепче. Он знал, что сделает теперь все, чтобы ускорить их свадьбу и получить законные права прижиматься к ней не только локтем, и не мог понимать, почему не сделал предложения раньше, почему был так нерешителен. Как он мог сомневаться в себе? Как мог не замечать, что Леля влюбилась в него с первого взгляда? Иначе разве она написала бы такие стихи? Ах, как чудесно, чудесно складывается жизнь!

Теперь поскорей явиться к ее родителям – и...

В это мгновение всадник в форме гусара лейб-гвардии Гродненского полка – в темно-зеленом доломане⁵, расшитом серебряными шнурами, в малиновых, с серебряными лампасами, чакчирах⁶ и сверкающих ботиках⁷, пронесся мимо, круто заносясь, почти ложась на пово-

⁵ Доломан – короткая (до пояса) однобортная гусарская куртка со стоячим воротником, расшитая на груди у офицеров золоченой или серебряной шнуровкой (согласно присвоенному полку цвету «приборного металла»).

⁶ Чакчиры – гусарские штаны прямого покроя со штрипками вниз. Чакчиры заправляются в ботинки. Цвет чакчир был различный в каждом полку. По боковым швам вшивали узкие лампасы из золотого или серебряного галуна. Чакчиры считали элементом парадной формы. Иногда на них или вместо них надевали рейтузы со штрипками, но их не заправляли, а носили поверх ботинок.

ротах, и на миг очутился так близко от Эрика и Лели, что бок его карего коня⁸, зеркально блеснув, оказался почти рядом с ними... Копыто чиркнуло по мостовой, высекло искры... Всадник успел оглянуться, из-под козырька кивера блеснул яркий глаз, сверкнули белые зубы в удалой улыбке, а потом вдруг на полном скаку он спрыгнул с коня, пролетел по воздуху вслед за ним, держась за седло и гриву, и легко, словно без малейшего усилия, вновь вспорхнул в седло. Вслед за ним пронеслись еще четыре всадника в такой же форме, горяча коней и не без усилий пытаясь повторить тот же лихой трюк, который первый наездник совершил как бы невзначай, словно играючи (отчего один из его эпигонов едва не свалился наземь, не тотчас попав в седло), – и исчезли так же внезапно, как появились.

Леля зачарованно уставилась им вслед:

– Кто это?

– Великий князь Павел Александрович, шеф гродненских гусар, со свитой, – ответил Эрик, с долей ревности ловя отсветы восхищения, которые долго еще не гасли в Лелиных глазах, и давая себе слово непременно научиться таким вольтижерским уловкам и продемонстрировать их невесте.

...Вот так судьба порою высвечивает перед нами неким таинственным образом грядущие события или хотя бы дает на них намек, но человек слишком озабочен настоящим, чтобы своевременно заглянуть в будущее!

* * *

– Да ты спятила, женщина? – вскричал Вилли, падая на пол. И взвизгнул от боли – несмотря на то, что пол его спальни был устлан коврами, ударился он очень чувствительно, причем именно локтем левой – увечной – руки. – Ты спятила, дура?! Ты столкнула меня с кровати... меня... Пошла вон, и чтоб я тебя больше не видел!

– Не волнуйся, я и сама не вернусь, недоносок! – прошипела Амалия, вскакивая с кровати и запахиваясь в пеньюар. – Мне надоело быть *vase de nuit*⁹, в который ты изливаешься, думая о другой!

Вилли опешил:

– Что, опять?.. Снова? Но я же... я старался...

– Старался он! – взвизгнула Амалия, поворачиваясь так резко, что каблуки ее изящных туфель без задников зарылись в ворс ковра, и она едва не упала. – Ты наяривал, да, но не меня! Ты засаживал, да, но не мне! Ты оттопыривал мохнатку, да, но не мою. Ты сношался, да, но не со мной! Под тобой лежала я, да, но терся ты не об меня, а по-прежнему о свою Спящую красавицу, вернее, об эту сонную гессенскую муху! О свою гемофиличку!

– Ты соображаешь, что говоришь?! – заорал Вилли так, что вопль его достиг самых отдаленных уголков *burg Hohenzollern*, замка Гогенцоллернов, и слуги повыскакивали из своих комнат и начали собираться к покоям принца.

Но им не удалось услышать ничего, потому что у Вилли от крика оказался сорван голос, и он мог только шептать, а Амалия от ярости шипела, как змея, и поэтому все, что было сказано, так и осталось между ними.

– Ты соображаешь, что говоришь? – хрипел Вилли.

⁷ Ботики – низкие, чуть выше середины икр, узкие сапоги.

⁸ Каряя мазь – вороная с темно-бурым отливом.

⁹ Ночной горшок (*франц.*).

– Конечно, еще бы! – шипела Амалия. – И я говорю правду! Помнишь сказку про Спящую красавицу? Она уколола палец – и умерла. А ты знаешь, как умер Фрицци, брат твоей ненаглядной Эллы? Ты знаешь?

– Ну, он вроде бы выпал из окна и расшибся насмерть... – пробормотал Вилли. – А что, не так?

– Так-то оно так, – буркнула Амалия, – но все же не совсем так!

...Второму сыну великого герцога Людвига и Алисы было три года. Все случилось так внезапно! Разыгравшись, Фрицци вбежал в спальню матери. Алиса играла на рояле – она была великолепной музыкантшей, о ее исполнении вдвоем с Иоганном Брамсом его «Венгерских танцев» ходили легенды, музыка всегда оставалась самой большой страстью Алисиной жизни! – не что иное, как «Похоронный марш» Шопена. Душа ее была обуреваема очередным приступом боли и печали – не то реальными, не выдуманными. Музыка не понравилась Фрицци, он споткнулся, побежал вперед... И с разбега ткнулся в высокое французское окно, которое начиналось чуть выше пола и заканчивалось чуть ниже потолка. Окно оказалось не заперто, створки распахнулись – и Фрицци с высоты третьего этажа упал на каменные ступени лестницы, на которую выходило окно.

Он не слишком пострадал при падении, на теле осталось только несколько ран... Однако к вечеру мальчик умер, потому что остановить кровотечение оказалось невозможно.

– ...Ты же знаешь – Виктория Саксен-Кобург-Заальфельдская, мать английской королевы, принесла заразу в кровь своих детей, – продолжала Амалия. – И она передалась внукам.

– Но мой дядя Эдуард, наследник английского престола, здоров! – возразил Вилли.

– Вспомни твоего дядюшку Леопольда, который умер, упав с лестницы! – фыркнула Амалия.

– Но брат Эллы, Эрни, недавно упал на охоте, расшибся – и с ним ничего не произошло! – упрямо твердил Вилли.

– Значит, ему повезло. Значит, всю заразу принял на себя бедный Фрицци. Но кто-то из сестер Эллы – Ирена, Виктория, малышка Аликс или она сама – передаст гемофилию своему потомству. И ты готов рисковать, рождая детей от женщины, в крови которой, возможно, гнездится страшная зараза? – в упор посмотрела на него Амалия. – Неужели ты не способен сейчас рассуждать не просто как похотливый мальчишка, а как будущий король? Ты не имеешь права ставить под угрозу будущее своей семьи и своей страны!

Вилли плашмя упал на кровать. Амалия наконец вытащила свой каблук из ворса ковра и двинулась было к двери, и Вилли слабо похлопал по кровати рядом с собой:

– Не уходи! Вернись, Амалия, мне...

Он чуть не сказал: «Мне страшно!» – но все же не сказал. Однако Амалия поняла. Она с жалостью поглядела на принца... Конечно, он еще мальчик, глупый мальчик, который впервые задумался о том, какой ужас может сулить ему будущее. Разве не кошмар – годы и годы, например, ждать рождения сына, потом наконец взять на руки этого младенца – и узнать, что отныне вся твоя жизнь будет затемнена страхом за него. Вот он играет, веселится, вот он бежит... А что, если упадет?!

Вилли дрожал крупной дрожью, и Амалия прилегла рядом, натянула на них обоих одеяло.

– Тихе, мой хороший, успокойся! Я здесь.

– Как ты думаешь, она знает? – пробормотал Вилли.

– Может быть, – вздохнула Амалия. – Наверное... она ведь знает, отчего умер ее брат.

– Боже мой, да как же эти гессенские девчонки могут мечтать о женихах, о семьях, о детях, если они... – Вилли задрожал и тесней прижался к Амалии. – А как ты думаешь, может

быть, Элла именно потому отказывала мне, что знала об этом? Если так... получается, она спасала меня?

Амалия искоса поглядела на своего любовника. Еще не хватало, чтобы его вождение к Элле окрасилось восхищением ее жертвенностью!

– Ты слишком хорошо думаешь об этой девчонке, – буркнула она. – Ты ей просто не по душе. Наверняка она считает, что ты недостаточно хорош для нее, мой славный Вилли. Она то мечтает уйти в монастырь, то...

Амалия прикусила язычок. Она не слишком-то доверяла сплетням. И хотя подкупленная ею одна из горничных Гессен-Дармштадтской семьи порою приносила интересные сведения о странных привычках Эллы, и среди этих привычек были такие, которые могли показаться странными, если не отгалкивающими, Амалия все же боялась рассказать об этом Вилли. Он начнет болтать языком, еще разразится скандал... И если герцог Людвиг упрекнет принца в том, что он распускает дурные слухи о его дочери, Вилли без колебаний разболтает, какая сорока принесла ему на хвосте эти сплетни. И все грехи падут на бедную голову Амалии Клопп. А ведь Амалия еще не готова к тому, чтобы оказаться изгнанной за пределы Прусского королевства. Сначала она намеревалась собрать побольше денег. Одинокой женщине не на кого рассчитывать, кроме себя. Амалия не собиралась выходить замуж. Мужчины ей до смерти надоели! Она хочет жить одна, делать то, что ей заблагорассудится, не связываться ни с кем, никому не подчиняться. Но свобода – очень дорогая игрушка. Пока что она не по карману Амалии Клопп. Еще бы лет пять продержаться рядом с Вилли... При прочих своих недостатках он совершенно не скуп. Конечно, Амалия уже собрала кое-какие средства; к тому же она предприняла некоторые шаги, чтобы обеспечить свое будущее, если Вилли вдруг раньше захочет от нее избавиться. Он совсем недавно подарил любовнице свой портрет с очень смелой, можно сказать, рискованной надписью. Кроме того, она хранит несколько его любовных посланий... Если Вилли когда-нибудь спохватится и решит вернуть портрет и письма, ему придется выложить кругленькую сумму, вернее, помесечно выкладывать такие суммы, чтобы Амалия держала язык за зубами и не делилась воспоминаниями о тех временах, когда она просвещала наследника прусского престола. Но это – дело будущего¹⁰.

А пока следует быть осторожной и остановиться на пути разоблачений малышки Эллы. Хотя... хотя, конечно, очень интересно было бы посмотреть на выражение лица Вилли, если бы он узнал, почему все-таки Элла не подпускает к себе горничных, когда моется...

* * *

Свадьба Эрика Пистолькорса и Лели Карнович стала одним из тех событий, которые внешне кажутся блестящими и радостными, однако блеск и радость – не более чем мишура, приклеенная к рублищу повседневности, к тому же приклеенная плохо. Ей предшествовали бурные беседы родителей с детьми (в смысле, родителей Эрика – с ним, а родителей Лели – с ней). Все беседы сводились к тому, что и тот и другая могут сделать гораздо более блестящие и выгодные партии. Но и Леля, и Эрик даже слышать не желали ни о ком другом. И родственникам пришлось смириться.

Их обвенчали в Соборе во имя Преображения Господня Всей гвардии, где исстари предпочитали венчаться все военные и особенно – конногвардейцы. А потом молодые отъехали на снятую на Гороховой улице новую квартиру в доходном доме Жеребцовой. Пистолькорс,

¹⁰ Это исторический факт – Амалия (иногда ее называют Эмили) Клопп до конца жизни (она умерла в 1893 году) жила на средства, которые ей выплачивала германская казна по приказу императора, опасавшегося ее шантажа с этой злосчастной фотографией и записками. Что именно там было написано, так и осталось тайной, ибо сии материалы оказались, по завещанию Амалии, уничтожены ее нотариусом немедленно после ее смерти. (Прим. автора.)

само собой, должен был являться в свой конногвардейский полк, расположенный неподалеку, а Леля собиралась вести жизнь светской дамы – замужней и самостоятельной.

Сказать совсем честно, начало семейной жизни Лелю страшно разочаровало. После сладостных поцелуев под черным покрывалом она ждала столь же сладостного продолжения, но оказалось, что правы те женщины, которые уверяют, что брачная постель доставляет удовольствие только мужчинам, а женщине приходится лишь проявлять покорность и терпение. И никакого блаженства...

Ах, недаром все романы оканчиваются свадьбой. В самом деле – а о чем еще писать?! Но ведь это ложь преизрядная, потому что романы изображают свадьбу некими вратами в счастье, а, оказывается, она ведет лишь к горькому разочарованию. Боль, скука, стыд...

Это что касается ночи. А вот новая дневная роль Леле в первое время очень понравилась. Обустроить – самой, по своему вкусу, без диктата матери! – семейное гнездышко, наводить в нем уют и красоту, ездить по модным магазинам и лавкам, покупая какие-нибудь нарядные, хорошенькие вещицы... обворожительные занятия! На этой почве Леля даже вновь сдружилась с сестрой – Любочкой Головиной, с которой раньше имела довольно прохладные отношения. Но Любочка была великим знатоком гостинодворских лавок, а также магазинов Гвардейского общества и Невского проспекта, и это оказалось необыкновенно важным плюсом в глазах Лели. Так что теперь Люба с удовольствием водила по магазинам молоденькую восторженную сестру. Обе они любили задерживаться на Невском дотемна и любоваться чудом техники – дуговыми электрическими фонарями. Освещен, впрочем, был тогда не весь проспект: лишь от Большой Морской улицы до Аничкова моста. Рассказывали, что найти свободное место для постройки электростанции было непросто. Наконец установили две – на баржах у Полицейского и Аничкова мостов. Однако силы тех электростанций хватило лишь на то, чтобы осветить один участок Невского. Ходили слухи, что во дворе дома № 27 будет сооружена третья электростанция, так что скоро весь Невский проспект zalьется электрическим светом.

Но в основном город освещался газом. Фонарщики с лестницами бегали от столба к столбу, ловко поднимались по легоньким лесенкам, которые носили с собой, к фонарю и зажигали его. На Гороховой, где поселились Пистолькорсы, и на Кирочной, где жили Головины, было газовое освещение, но стоило свернуть за угол, в проулок, как кругом разносился стойкий запах керосина: здесь все еще стояли керосиновые фонари на старых, невзрачных столбах, вокруг которых утром и вечером мельтешили фонарщики с ручными тележками. Утром лампы снимали и увозили, вечером привозили снова, заправленные керосином...

После магазинов дамы катались по набережной Невы или заходили в маленькие и прелестные английские кафе, любуясь оттуда, как важно движется по Невскому конка, наблюдая, как вырастают старые двухэтажные здания, которые теперь надстраивали до четырех или даже пяти этажей. Если приходило в голову погулять в Летнем саду или в Таврическом – в той его части, которая протянулась вдоль Потемкинской улицы (туда пускали только за деньги, это был сад для «чистой» публики), они непременно пили там модный лактобициллин – простоквашу, изобретенную профессором Мечниковым. Несмотря на моду, желающих ее пить было еще мало, но Любочка, чей муж, Головин, был знаком с профессором, считала своим долгом поддерживать всякие новации, особенно *bons*, как говорят французы, то есть полезные для здоровья.

Впрочем, очень скоро сестры перестали появляться вдвоем и на Невском, и в Гостином дворе, и в Таврическом саду. Нет, они не рассорились, и охота разыгрывать из себя хозяйку дома у Лели не остыла. Все объяснилось просто – она почувствовала себя беременной, да как почувствовала! Ее беспрестанно тошнило, она то и дело падала в обморок, и верная Анюта не отходила от нее ни на шаг в самом буквальном смысле, ежеминутно готовясь подхватить молодую женщину, которая, чуть что, лишалась чувств. Знакомые дамы – а заодно с ними и пользовавшийся Лелю доктор – сулили ей скорое избавление от недомогания – дескать, после

трех месяцев беременности все пройдет, как будто и не было! – однако минули три месяца, и четыре, и пять, а улучшения не наступало. Леля по большей части лежала на кровати, изредка свешиваясь с нее, а проворная Анюта в эту минуту спешила подсунуть ей умывальный таз.

Леля даже не хотела смотреть на себя в зеркало. А что она могла там увидеть? Отекшую физиономию, покрытую красными точками порванных в рвотной натуре сосудов, с опухшими губами, мешками под глазами и мутными от слез глазами. Она презирала себя, но не могла найти силы, чтобы привести себя в порядок хотя бы к возвращению мужа. Ощущение не просто постоянной тошноты, но и постоянной готовности к рвоте не проходило, и ожидание рождения ребенка превратилось для нее как бы в ожидание окончания срока каторги. Иногда в ее затуманенном мозгу всплывала картина того солнечного дня, проведенного на ярмарке. Как ни странно, больше ей почти нечего было вспомнить – из того времени, которое она провела вместе с Эриком. Даже свадьбу в памяти словно бы пеленой затянуло, собственную свадьбу! А известие о том, что брат государя, великий князь Сергей Александрович, привез в Россию невесту, Элизабет Гессен-Дармштадтскую, что сыграна пышная, волшебная свадьба, что для молодых куплен дворец Белосельских-Белозерских на Невском проспекте, там, где проспект этот пересекается с набережной реки Фонтанки, что дворец теперь называется Сергиевским... это известие, которым в июле жил весь Петербург, вообще словно бы мимо Лелиных ушей пролетело.

Сестра Люба пыталась рассказать о роскошном свадебном торжестве, о туалете невесты, о том фуроре, который произвела в Петербурге ее красота, но Леля ничего не слышала. Для нее ничего не существовало, кроме собственных страданий.

«Ох, Господи! Скорей бы все это кончилось...» – теперь эти слова были ее молитвой. И даже родовые муки сопровождались почти постоянной борьбой с тошнотой, Леля находилась в полусознании и была несказанно изумлена, когда ей сообщили, что родился сын.

Эрик, который явился поздравить жену, сообщил, что решил назвать ребенка Дмитрием. В честь своего деда, которому был обязан своим воспитанием. Ибо именно дед настоял на том, чтобы Эрик выбрал военную карьеру, и вообще – дедовыми связями он был записан в Конногвардейский полк.

– Но как же так, – пролепетала Леля, – мы даже ничего не обсудили, ни о чем не говорили... имя выбирают вместе...

– Душенька, – ответил Эрик, снисходительно приподнимая брови, – ну как же было возможно что-то с вами обсудить, когда вы находились в таком ужасном состоянии?

Леля устало закрыла глаза. Ну ладно, Дмитрий так Дмитрий, это прекрасное имя... Только странно, что Эрик начал снова разговаривать с ней на «вы».

Она долго приходила в себя после родов и не хотела ни принимать гостей, ни даже видеться с мужем. Леля обожала сына, однако больше иметь детей ей пока не хотелось. На счастье, полк Эрика был на маневрах.

Постепенно Леля снова начала выезжать. Сестра заставила ее побывать в театре, однако Леля чувствовала себя слишком разбитой, чтобы получать удовольствие хоть от чего-нибудь, даже от веселого представления, которое ей нужно было всего лишь созерцать.

Она равнодушно смотрела, как блистательная Екатерина Вазем, которая в тот день прощалась со сценой, станцевала свои знаменитые «Дочь фараона», «Камарго» и «Пахиту».

– Да что ты как спишь на ходу?! – сердито воскликнула сестра, отчасти даже обиженная тем, что Леля не оценила ее хлопот: в этот вечер в Мариинке собрался весь свет, царская ложа тоже была полна, великая княгиня Елизавета Федоровна блистала красотой, все взоры были устремлены на нее... Легко ли было раздобыть ложу в театр?!

Спишь на ходу? Леля не обиделась. Она и в самом деле чувствовала, что больше всего на свете хочет спать. Хоть она и не кормила Митеньку, хоть и был он окружен заботой и хлопотами

нянек, а все же малое дитя, да и последствия беременности продолжали сказываться. Именно поэтому самым любимым занятием Лели был в это время сон.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.